

# СОДЕРЖАНИЕ

ПАВЕЛ КРЮЧКОВ <b>ХРАНИТЕЛЬНИЦА</b> .....	7
<b>СОФЬЯ ПЕТРОВНА</b> .....	23
<b>СПУСК ПОД ВОДУ</b> .....	109
<b>ПРОЧЕРК</b> .....	215
ЕЛЕНА ЧУКОВСКАЯ <b>ПОСЛЕ КОНЦА</b> .....	593

# ПАВЕЛ КРЮЧКОВ .....

## ХРАНИТЕЛЬНИЦА

Из-под каких развалин говорю,  
Из-под какого я кричу обвала...

АННА АХМАТОВА.  
*Надпись на книге. 1956*

Маленькая, немощная лира.  
Вроде блюда или скалки, что ли.  
И на ней сыграть печали мира!  
Голосом ее кричать от боли.  
Неприметный голос, неказистый,  
Еле слышный, сброшенный со счета.  
Ну и что же! Был бы только чистый.  
Остальное не моя забота.

Лидия Чуковская. 1968

**З**има 1975 года, Переделкино. Лидия Чуковская бережно переложила в самый обычный письменный конверт небольшой клочок бумаги с обращенным к ней коротким посланием. Потом взяла фломастер (из-за больных глаз она могла писать только таким способом) и крупно вывела: “Орден”. Это была частная записка, которая, оказывается, давно ждала своего адресата в лапах ели на могиле отца Лидии Корнеевны — знаменитого писателя Корнея Чуковского. Тот конверт, в котором это письмо находилось, — вымок, некоторые буквы в послании — расплылись, но текст прочитывался: “Спасибо Вам, Лидия Корнеевна, за то, что Вы, человек и писатель, одна из немногих настоящих писателей, оставшихся в России”. Подпись — неразборчива, дата — тоже.

“Напоминаю, — написала чуть позже Чуковская в автобиографической книге «Процесс исключения», впервые выпущенной в Париже, в конце 1970-х, — что письмо это написано и получено мною в стране, где имя мое запрещено, где за каждую мою сам-

издатскую или тамиздатскую книгу человек рискует поплатиться тюрьмой, где не печатается ни одна моя новая строка; где из всех библиотек уже изъяты мои прежние книги, а из каталогов — названия. Меня нет и меня не было...”

.....

Я пишу свои заметки, пытаюсь догадаться, кем и как будет прочитан этот большой том, в который вошли — одна за другою — три заветных книги Чуковской: две художественных (первая создана на границе 1939–1940-х, вторая — в 1949–1957-м) и одна — документальная, которая не была закончена (у читателя — вариант 1980–1985, с крохотным дополнением первой половины 1990-х)<sup>1</sup>.

Линия расположения (последования) важна здесь не только потому, что она — логична; эти книги словно бы “вырастают” одна из другой и “прорастают” друг в друга: перед читателем — своего рода “шкатулка с тройным дном”, обернувшаяся высоким и трагическим триптихом, особой симфонией классической русской прозы.

За тех, кто с этими тремя книгами уже знаком и теперь их перечитает с тем или иным чувством, — я не тревожусь, это более чем сознательный поступок с их стороны, и я верю, что он будет пропитан той самой “горькой радостью”, о которой писала Анна Ахматова, вспоминая о своем друге и великом переводчике Михаиле Лозинском.

А вот те, кто впервые? Мне хочется попытаться сказать о Чуковской что-то важное, может быть, и не своими, а чужими, наиболее точно найденными словами.

Таких слов, к счастью, немало.

Но я сейчас — о будущем читателе. Мне словно бы надо его о чем-то предупредить.

В самом конце прошлого столетия (как это сейчас осознать?) у меня написался о Лидии Корнеевне Чуковской пылкий лирический очерк. К тому времени все ее главные книги были уже изданы, знаменитые “Записки об Анне Ахматовой” вошли в читательский и научный оборот, удостоившись к тому же и государственной премии; а мемориальный музей Корнея Чуковского, который она волшебным образом создала и удержала, как и ныне, продол-

<sup>1</sup> При подготовке настоящего тома мы ориентировались на издания “Софья Петровна: Повести, стихотворения” (М.: Время, 2012) и “Прочерк” (М.: Время, 2009), подготовленные при непосредственном участии Елены Цезаревны Чуковской. — *Примеч. ред.*

жал стоять на своем переделкинском месте и принимать посетителей. Ее посмертное столетие в 2007-м было отмечено большими памятными вечерами.

Казалось, чего же еще? И все-таки во вступлении к тому очерку у меня (еще тогда!) сложился мучительный вопрос к самому себе: не кажется ли мне, что ее — так и не узнали, не расслышали те, кому — через себя — она могла бы помочь?

Пожалуй, я оставляю этот вопрос открытым. Особенно в нынешние дни.

Быть может, мне просто начать со своей истории?

В 1974-м — год исключения Лидии Корнеевны из Союза советских писателей — я жил в переделкинском санатории для детей, больных астмой. Хорошо помню, как нас, неуклюжих легочников, раз в месяц водили “к Чуковскому”, в его литфондовскую дачу, недавно ставшую мемориальным музеем.

Ступени под ногами тихонечко скрипели, высокая дверь в просторную комнату медленно отворялась... Каждый раз мы становились свидетелями чуда, творящегося прямо на глазах: по желтым половицам носился блестящий паровоз, из трубы которого шел настоящий дым; лев, сидящий на книжной полке, говорил по-английски; на столе росло Чудо-дерево с настоящими маленькими башмаками, а пока деревянная шкатулка — с расположенным внутри зеркалом — играла древнюю японскую мелодию, мы, заглядывая в нее (только один раз в жизни!), загадывали желания.

Так продолжалось два года, пока астма не пошла на убыль.

Потом прошло еще шесть лет, и вот накануне школьного выпуска, это было самое начало 1980-х, — мне захотелось на один день вернуться в старое время и снова подняться по узким ступеням в комнату, полную неожиданностей.

Немного наискосок от знакомых зеленых ворот стояла легковая машина, из которой раздавались голоса, — там шел какой-то разговор. Когда мы с приятелем проходили мимо, голоса резко смолкли. Мы подергали запертую калитку: в музее был выходной.

Повернули назад, и, проходя мимо автомобиля, стоявшего на прежнем месте, я невольно задержал взгляд.

На меня внимательно смотрели две пары глаз — на заднем сиденье расположились двое мужчин. Ну и что? Обычное дело.

Но странно — вот этот внимательный, прищуренный взгляд я запомнил.

Сейчас думаю — они ли это были? Может, да. А может, и нет. Но они были. В это время и в этом месте. А нужна им была она — Лидия Корнеевна Чуковская. “Я работаю — начальство тоже не сидит сложа руки. Я нахожусь под надзором — тайным или явным он значится в соответствующей графе, мне неизвестно. Я определила бы его так: заметный... На даче слежка за моим домом ведется не постоянно, а порывами. Порою у ворот возникают топтуны, а порою часами стоит таинственное такси, не берущее пассажиров...”

Выброшенная из литературы, из библиотек, из воспоминаний, из судьбы собственного отца, в полной мере воплотившая любимое ахматовское присловье “вас здесь не стояло” — Лидия Корнеевна каким-то чудом не была выброшена из Дома, дома-музея. Она держала его и держалась за него. Исключенная отовсюду, она стала постоянным гостем в стихах друзей. В начале 1980-х в поэме Семена Липкина “Вячеславу. Жизнь переделкинская” — вы могли бы навещать ее хоть каждый день, не обращая внимания на прогуливающих рядом призраков советской литературы:

...Вон тот, с бородкою, растаял, как фантом.  
Спустился вечер синеватый.  
Давай-ка к Лидии Корнеевне зайдем.  
К ней можно: час пошел девятый.  
Один из тех, кто был никем, а стал никто,  
Сказал с кавказским простодушьем:  
“Мешает людям жить осиное гнездо.  
Мы дом Чуковского разрушим”.  
И в самом деле: дом, на воздухе держась,  
И сыростью изъеден, рухнет.  
Порвется ниточка — с прекрасным прошлым связь, —  
И драгоценный луч потухнет.  
Но по ночам не спит владелица луча,  
И свет бесстрашно укрепляя,  
Она работает, не слушаясь врача,  
Упрямая, полуслепая...  
Мы удивляемся тому, что день погас,  
Но зорко смотрит лунным кругом,  
И вспоминаем ту, кто связывает нас  
С бессмертьем, с правотой, друг с другом.

Вспоминали они, конечно, Анну Ахматову.

...Через неделю я еще раз приехал в музей и попал на “экскурсию для взрослых”, которую вела секретарь Чуковского — Клара Лозовская.

И был буквально загипнотизирован фантастической драматургией этих пестрых стен и предметов и заново открывшимся образом писателя, известного мне лишь под именем Сказочника, автора “Мухи-Цокотухи” и “Мойдодыра”. Меня закружили имена: Блок, Маяковский, Мандельштам, Репин, Лев Толстой... Шелковая оксфордская мантия отражала малоизвестный мне свет великого труженика, освоившего десяток научных профессий, самоучки-многостаночника, цельного и нервного художника, покоровившего русского читателя еще за десять лет до своей первой сказки.

Я приехал и в следующую субботу. И еще через неделю. И стал приезжать почти как “свой”, — еще ничего не зная про Лидию Корнеевну, кроме “экскурсионной” фразы Клары Израилевны: “Когда Корнея Ивановича не стало, его дочь решила сохранить комнаты, в которых он жил и работал, такими, какими он их оставил...”

В те дни, когда музей отдыхал от посетителей, Дом сторожила сама Лидия Корнеевна, уже знакомая мне по фотографии десятых годов начала века в кабинете Корнея Ивановича: маленькая девочка лет семи.

Именно Клара Лозовская и дала мне через некоторое время ксерокопию с заграничного издания “Софьи Петровны”. Навсегда запомнилось пронзительное место в повести, где несчастная, ослепленная режимом мать, уже изрядно постоявшая в бесконечных тюремных очередях, чтобы узнать о сыне (“арестованном по ошибке”), оценивает других “очередников”. “...Подумать только, все эти женщины — матери, жены, сестры вредителей, террористов, шпионов! А мужчина — муж или брат... На вид все они самые обыкновенные люди, как в трамвае или в магазине...”

И — поразительная дата под текстом: “ноябрь 1939 — февраль 1940”.

Очень скоро я узнал, что это — единственная художественная проза о безумии сталинских “чисток”, написанная именно здесь и тогда; о более чем добровольном самоослеплении “простого советского человека” и его неосознанном внутреннем предательстве — своих самых близких людей. Единственная.

Я прочитал “Софью” залпом, и тут же открыл заново, всматриваясь “в глубину кадра”.

Вот школьный товарищ сына главной героини, с которым они вместе уехали на Урал по “ответственной путевке” (еще совсем недавно фото комсомольца-передовика Николая Липатова было напечатано в “Правде”), приезжает в Ленинград, чтобы, разрыдавшись, сообщить маме своего друга о страшно-необъяснимом событии, случившемся с Колей:

“...Нужно было сейчас же бежать куда-то и разъяснить это чудовищное недоразумение. Нужно было сию же минуту ехать в Свердловск и поднять на ноги адвокатов, прокуроров, судей, следователей. Софья Петровна надела пальто, шляпу, боты и вынула из шкатулки деньги. Не позабыть паспорт. Сейчас же на вокзал за билетом.

Но Алик, утерев лицо шарфом, сказал, что, по его мнению, ехать сейчас в Свердловск решительно не имеет никакого смысла. Колю, как коренного ленинградца, лишь недавно проживающего в Свердловске, скорее всего отвезут в Ленинград. Уж не лучше ли ей повременить с поездкой в Свердловск? Как бы она с ним не разминулась! Софья Петровна сняла пальто, бросила на стол паспорт и деньги.

— Ключи? Вы оставили там ключи? — закричала она, подступая к Алику. — Вы оставили кому-нибудь ключи?

— Ключи? Какие ключи? — оторопел Алик.

— Боже, какой же вы глупый! — выговорила Софья Петровна и вдруг заплакала громко, в голос. Наташа (сослуживица героини. — П.К.) подбежала и обняла ее за плечи. — Да ключ... от комнаты... в вашем, как его... общежитии...

Они не понимали и смотрели на нее бессмысленными глазами. Какие дураки! А горло у Софьи Петровны теснило, и она не могла говорить. Наташа налила в стакан воды и протянула ей. — Ведь он... ведь его... — говорила Софья Петровна, отстраняя стакан, — ведь его... уже наверное... выпустили... увидели, что не тот... и выпустили... он вернулся домой, а вас нет... и ключа нет... Сейчас, наверное, будет от него телеграмма.

В ботах Софья Петровна повалилась на свою кровать. Она плакала, уткнувшись головой в подушку, плакала долго, до тех пор, пока и щека, и подушка не стали мокрыми. Когда она поднялась, у нее болело лицо и кулаком стучало в груди сердце”.

Забегая вперед скажу, что в феврале 1988 года “Софья Петровна” готовилась к выходу в ленинградском журнале “Нева”. Казенный цензор, соответствуя “ветрам перемен”, попросил заменить

только слово “спецотдел” (речь шла о редакции, где работала героиня повести, об обязательном для любого учреждения мини-филиале КГБ) — на “Отдел кадров” или, в крайнем случае, на “Первый отдел”.

Лидия Корнеевна передала в редакцию следующее: “Ни одного слова менять не буду — я к этому была готова. Пятьдесят лет я ждала, подожду еще пятьдесят”. Когда редактор отдела прозы Самуил Лурье (по словам Л.Ч., “виновник моего второго рождения в литературе”) передал эту фразу “по начальству”, прибавив что-то о возможном международном скандале, — “усталость паровоза” работала: они махнули рукой.

Повесть вышла.

К февралю 1988 года я уже довольно регулярно наезжал в перedelкинский дом Корнея Ивановича, написав за полгода до того заметку об этом мемориальном музее для одной из столичных газет (самодеятельному музею тогда все еще грозило уничтожение).

В моем ученическом тексте всего один раз упоминалось имя Лидии Корнеевны: что это она после смерти Корнея Чуковского решила сохранить его комнаты нетронутыми.

О том, что дочь Корнея Ивановича — запрещенный литератор, что она исключена из Союза писателей, я на момент написания заметки действительно не знал, поэтому обильные поздравления многих известных и малознакомых людей были для меня не вполне понятны. Помню, что звонили даже на завод, где я тогда работал, — прямо в сборочный цех. Оказалось, что это было одно из первых появлений имени Лидии Чуковской в печати после более чем полутора десятка лет умалчивания или упоминаний в том или ином списке “врагов советской власти”.

Кстати, список “прегрешений” Лидии Чуковской перед той самой властью открывался как раз зарубежной публикацией “Софьи Петровны” (впервые — с переменной названия, измененным именем главной героини и извинениями издателя, что книга-де печатается без ведома автора — повесть вышла в русском парижском издательстве “Пять континентов” в 1965 году; публикация на родине автора готовилась еще раньше, но подули ветра беспамятства, “оттепель” рассосалась и рукопись писательнице вернули).

Разумеется, некоторые читатели повести (“а у нас в редакции все плакали”, сообщала одна сотрудница) сделали себе на память копии, дали почитать друзьям, ну а дальше сами понимаете.

Последним же камнем в “процессе исключения” Чуковской явилась по-герценовски пронзительная статья “Гнев народа” (1974) — где на примере публичного шельмования в прессе и на трибунах Пастернака, академика Сахарова и писателя Солженицына исследовалось хорошо отлаженное явление “нажатия кнопок”, то есть оболванивания тех, кто привык верить написанному в газетах и сказанному по радио. Иными словами — тех сотен тысяч дальних и близких “родственников” несчастной Софьи Петровны, которой уже сказали, что ее сын (вчерашний правоверный комсомолец и передовик) — обыкновенный террорист, признавшийся в своих “преступлениях”.

К тому же: “следствие располагает его подписью”.

Итак, после выхода моей газетной заметки о народном музее я и узнал, в какой такой дом ездю по выходным дням. Узнал — и в самом Доме, и из передач иностранного радио (помню, в частности, как зачитывали телеграмму Лидии Чуковской — Иосифу Бродскому в связи с Нобелевской премией; диктор подробно напомнил биографию поздравителя).

С самой Лидией Корнеевной мы не были знакомы, она приезжала в музей по будням.

Поскольку мои родители тоже изредка слушали “вражеские голоса”, они что-то знали и о Лидии Чуковской и об опальном музее, и, признаюсь, не очень-то одобряли мои поездки в Переделкино (“перестройка” хотя и разворачивалась полным ходом, но книги писательницы были тогда еще под запретом).

Вот тут-то и вышел номер “Невы” с “Софьей Петровной”, на публикацию которой в то время Лидия Корнеевна не особенно-то и рассчитывала.

Как только журнал оказался у меня в руках, я решил показать повесть родителям и, уходя рано утром на завод, оставил номер “Невы” на видном месте, с соответствующей пояснительной запиской. Вернулся я в тот день очень поздно, а на следующее утро меня на кухонном столе ожидало, в свою очередь, послание от мамы, в котором она благодарила своего сына за “просветительство” и тут же — слова восхищения о “Софье” и ее авторе. Слова были горячими и торжественными.

В тот год мы и познакомились в Москве с Лидией Корнеевной. Я, смущаясь, рассказал ей о нашей с мамой читательской истории и попросил надписать мне журнальную публикацию, кото-

рую взял с собою. Прихватил и мамину записку ко мне — похвататься.

Лидия Корнеевна медленно прочитала мамино письмо, а журнал оставила у себя и сказала, что через некоторое время он вернется ко мне.

Я тогда еще не знал, что она не терпит никаких импровизаций.

Наконец, журнал мне передали. Дарственная надпись на публикации “Софьи Петровны” содержала в себе нечто ни с чем не сравнимое: “...с благодарностью за попечение о нашем Доме и показанную мне мамину записку, которую мне очень хотелось бы присвоить”. Через некоторое время я выполнил эту просьбу.

Почти ничего не помню из моей первой встречи, кроме добрых, строгих и, кажется, беззащитных глаз за толстыми стеклами очков. Кроме крепкого рукопожатия и высокого роста. Кроме благородства, легкости и уважительной интонации. Вблизи она оказалась совсем не такой непреклонно-строгой, как мне рассказывали. Никакого “памятника мужеству”. Лидия Корнеевна и не считала себя особенно мужественной. Мужественными, по ее мнению, были Сахаров, Солженицын, Марченко, Юрий Галансков или Василь Стус.

А у нее “всего лишь” отняли право на читателя...

Наверное, в этом смысле она была “старомодным” литератором вроде Короленко или Толстого — когда в ее родной стране творилось беззаконие и безобразие, она не могла оставаться спокойной. И — отвечала. Звучание Слова играло здесь единственно главную роль, она создавала свои статьи сразу и навсегда. Потому они и должны войти во все хрестоматии. Автор знаменитой в 1960-е годы книги “В лаборатории редактора”, многолетняя ученица Маршака, Лидия Корнеевна не могла оказаться неточной.

Ни в букве, ни в запятой, ни в интонации.

Но как ей удавалось соединять это с невероятной страстностью голоса?

Может быть, потому, что она всю жизнь писала лирические стихи? Точнее, стихотворный дневник.

Живем, не разнимая рук.

Опасности не избегая.

Обыденное слово “друг”

Почти как “Бог” воспринимаемая.

Увы, все реже на пороге  
Хранительные эти боги.

В ноябре 1993-го, еще при жизни Лидии Корнеевны, в “Комсомольской правде” (к тому времени газета дважды писала о Чуковской и ее книгах) вышла статья писателя и журналиста Дмитрия Шеварова “Чуковская осень”, посвященная, главным образом, начавшейся в Санкт-Петербурге публикации Второго тома “Записок об Анне Ахматовой”.

Прозвучали простые и важные слова, которые — спустя три десятилетия — мне хочется привести и здесь:

“Записки Лидии Чуковской беспримерны (конечно, лишь для нашего расхристанного времени) по скрупулезности и строгости. Строгости к своей памяти, к себе минувшей и к себе настоящей. В примечании к публикации Лидия Чуковская пишет: «Я утверждаю, что ее (Ахматовой. — Д.Ш.) слова, если я брала их в кавычки или ставила перед ними тире, записаны мною без перевода на язык другого поколения. Они не пересказаны мной, а воспроизведены слово в слово...»

Наверное, вот это и есть классика?

Много лет Лидия Корнеевна Чуковская была непризнанным, но очевидным классиком литературного поведения (или, если угодно, поведения в литературном мире). Она называла зло злом, предательство — предательством и, что важнее всего, никогда не опаздывала с помощью отринутым, заклеянным или просто несчастным литераторам. Она стала гением помощи, сестрой милосердия русской литературы. За эту безоглядность в помощи ее исключали из Союза писателей, не давали опубликовать воспоминания даже о собственном отце, а в книгах о Корнее Чуковском вытравляли имя его дочери Лидии, словно ее и не было... После книги об Ахматовой, думаю, не останется тех, кто не признал бы, что Чуковская — классик русской мемуаристики, классик как таковой, каким он только и может мыслиться в России — в высочайшем единении Поступка и Слова”.

...Мне очень неловко, что я — ни в какой мере не заслуженно — вернусь сейчас опять к своей истории: но я не могу, пользуясь случаем, не привести здесь слова из последней дарственной надписи Чуковской — как раз на публикации все в той же

“Неве”, то есть на первых главах Второго тома “Записок об Анне Ахматовой”.

Мне кажется, что это высказывание — необходимо-достоверный штрих к портрету той, с чьей прозой читателю предстоит нынче встретиться. Перечитывать эти слова мне мучительно больно. И все-таки: мало я знаю таких обреченно честных слов о своем главном и единственном деле.

“...С пожеланиями успехов на трудных путях и перепутьях российской словесности — с предупреждением, что все пути и перепутья невыносимы, безрадостны, не дают ни покоя, ни счастья, ни при каких обстоятельствах — даже в случае удачи — и все ж... раз ступили — уже никуда не денетесь”.

•••••

...Когда ей позвонили и сообщили, что решение о ее исключении из Союза писателей отменено и что — “несмотря ни на что” — восстановители очень надеются на некую нерушимую внутреннюю связь Чуковской с этим самым Союзом, — Лидия Корнеевна хладнокровно сообщила им, что само существование писательской организации связано для нее только с кампанией по уничтожению переделкинского дома-музея.

После перестройки ее открытые письма носили, казалось, узко литературный, “служебный” характер. Но это только казалось. Понятия, чистоту которых она отстаивала, остались прежними. Например, подпись под коллективными протестами — в защиту оболганных газетой “Советская Россия” писателей Льва Копелева и Анатолия Наймана.

За восстановление имени и книг Александра Солженицына.

Против уничтожения журнала “Горизонт”.

Было и письмо в демократическую писательскую организацию “Апрель” с просьбой-требованием не предоставлять руководящей должности в этой организации покаявшемуся литератору Рекемчуку (в организации он пусть работает, но не руководит!). Тому самому Рекемчуку, который в свое время приложил руку к изгнанию из Союза Александра Галича, Владимира Корнилова и самой Лидии Корнеевны. И еще — подпись под статьей против посмертного присуждения Ленинской премии Анне Ахматовой мне тоже памятна.

А вот как она описала финал своего процесса исключения в одноименной книге:

“...рев стоял страшный, и силы мои, и время мое истекли, и вместо всех заготовленных выписок о неизбежной победе слова я проговорила напоследок:

— С легкостью могу предсказать вам, что в столице нашей общей родины, Москве, неизбежны: площадь имени Александра Солженицына и проспект имени академика Сахарова... Громкий хохот”.

Так глумились — писатели.

Стоит ли напоминать, что названные Чуковской имена вошли в столичную топонимику — кто бы и как к этому не относился — “еще при нашей жизни”?

•••••

Поскольку я не знаю, когда мне еще представится случай написать о Лидии Чуковской на подобном книжном пространстве, вспомню слова виртуозного эссеиста и критика (и, как я уже упоминал, редактора отдела прозы при первой публикации в СССР “Софьи Петровны” в “Неве”) — Самуила Лурье (1942–2015).

Ценивший и любивший и саму Лидию Корнеевну, и ее произведения Лурье писал о ней много, откликался почти на каждое издание (он застал и выход из печати нумерованного 12-томного “Собрания сочинений Лидии Чуковской”).

Но его маленькое газетное эссе 2007-го “Прописные буквы”, сложенное к столетию писательницы, — это нечто особенное.

Самуил Аронович повел речь о современном опустошении культурной памяти, о “разгерметизации салона самолета”, о вылете в никуда чуть ли не всех тех слов, “...какими следовало бы говорить про Лидию Корнеевну — про ее необыкновенную жизнь, про ее поразительные, захватывающие, мучительные книги”.

“...Можно сказать и так, что вышел для этих слов срок годности. Одни утратили свой смысл, другие приобрели противоположный. Причем началась эта порча вообще-то давно (еще Салтыков, с его тревожным обонянием, ворчал, якобы недоумевая: дескать, был же смысл, что-то же они значили — такие, допустим, слова, как Совесть или там Правда, а кто их помнит?) — и с ускорением продолжалась целое столетие — и вот finita.

В самом деле — ну заставьте хоть свой внутренний голос произнести, предположим: «величие души» — нет, серьезно! серьезно! — получилось? То-то и оно.

А Лидия Корнеевна спокойно, уверенно и правильно пользовалась (и в текстах, и в быту) даже таким термином, как честь. Она умела думать всеми этими — с прописных букв — существительными, чувствовать и действовать по этим архаичным глаголам. Умела, вообразите, благоговеть. Презирать. Сострадать.

Сразу как она умерла все эти лексемы утратили отношения с реальностью. (Так осенью один резкий порыв ветра срывает с берез последнюю, прозрачную листву — разом всю, но не дает упасть, истлеть спокойно.) Как если бы их ценность обеспечивалась исключительно существованием Лидии Чуковской.

Потому что она была — скажем под протокол, для школьного учебника — последним представителем русской классической литературы. Ее великая дочь.

Догматы этой литературы вошли в ее кровь и плоть буквально: придали непобедимую силу ее характеру. Она олицетворяла эти догматы, воевала за них — одна против целой эпохи, за них положила свою долгую, грустную жизнь...”

Вот с такой писательницей предстоит — через три ее заветные книги — встретиться тем, кто откроет эту классическую литературу для себя впервые.

В другой своей статье к столетию Чуковской тот же Лурье сказал драгоценные слова о произведении, открывающем наш том: “...что бы ни случилось со страной, с человечеством, с литературой, со всеми остальными сочинениями Лидии Чуковской, — повесть под названием «Софья Петровна» навсегда останется необходимой вещью для каждого и любого, кому хотелось бы понять, как устроена жизнь”.

И тут я не могу не вспомнить, как совсем недавно, в нашем разговоре с издателем этой самой книги, к которой я пишу свои заметки, прозвучало отчаянное: “...мне всё время хотелось схватить эту Софью Петровну за плечи и как следует встряхнуть!”

Мне — тоже. Разбудить от летаргии, замешанной на слепоте и “величаво-безысходной” — по любимому Лидией Корнеевной Блоку — глупости.

Но вот парадокс: сочинение и героиня странным образом “обошли” своего создателя.

Да, Софья Петровна — прямо на глазах читателя — неуклонно повреждается в рассудке. Да, ее Колю “могли завлечь”, “ведь и без причины ничего не бывает”, но вот он уже возвращается домой,

и вот-вот директор завода назначит Колю своим помощником, “правой рукой”. “...Местком приобрел для него путевку в Крым — роскошная там природа, я бывала в молодости. А когда он вернется, он женится...” И т.д. и т.п.

Никуда он не возвращается, конечно.

Но при всей еле заметной саркастичности (а местами и даже отчетливой сатиричности) — героиню возрастающе и мучительно жалко (чего, увы, в свое время не почувствовал опытный Твардовский). И в этом, помимо прочего, гений “Софьи”. Для меня эта повесть, навсегда зарифмованная с “совестью”, — была и остается сродни кристаллически-филигранной поэме, в которой нет ни одного лишнего слова, жеста или детали. Не зря иные трудолюбиво-неравнодушные учителя литературы (такие еще есть) создают по этому произведению специальные уроки и даже пишут методические пособия.

.....

Лидия Корнеевна была литератором, что называется, *rag excellence*, и, хотя обладала тем, что называется “общественным темпераментом”, очень хотела, чтобы и относились к ней как к литератору. Никогда не принадлежавшая ни к одной политической организации, она, друг и соратник Андрея Сахарова, отказалась войти в Комитет защиты прав человека.

“Я им сказала, что защищать и подписывать я буду, но работать, тем хуже — числиться — нет. Это дело профессионалов”.

В “Записках...” упоминается, что Ахматова плакала, когда Чуковская читала ей “Софью Петровну”. Я знаю, что те же самые эмоции испытал и Андрей Дмитриевич, когда Лидия Корнеевна прочитала ему в Переделкине свой “Гнев народа”.

Примечательно, что и беллетристическую повесть, записанную в школьной тетради молодой тридцатитрехлетней женщиной (страницы нумеровала маленькая дочь автора, будущая Елена Цезаревна Чуковская) и ослепительно-грозный памфлет — пера почти семидесятилетней писательницы — создавал один и тот же человек.

И опять — трудно удержаться! — я обращаюсь к Самуилу Лурье.

“...Чудо — что она написала, что вообще какой-то человек в России тогда мог дойти до такой глубины, чтобы написать «Софью Петровну». Где впервые в мировой литературе именно это